

УДК 821.161.1(09)

doi 10.17072/2073-6681-2019-1-110-121

## «ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА СУДЕЙ, ИЛИ О ПОЭТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ И ИСТОКАХ ПОЛИФОНИИ ДОСТОЕВСКОГО

**Георгий Сергеевич Прохоров**

д. филол. н., профессор кафедры литературы

Государственный социально-гуманитарный университет

140415, Россия, г. Коломна, ул. Зеленая, 30. hoshea.prokhorov@gmail.com

SPIN-код: 7506-0123

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4652-8698>

ResearcherID: I-9202-2018

*Статья поступила в редакцию 07.09.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Прохоров Г. С. «Дневник Писателя» и библейская книга Судей, или О поэтике исторического повествования и истоках полифонии Достоевского // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 1. С. 110–121. doi 10.17072/2073-6681-2019-1-110-121

**Please cite this article in English as:**

Prokhorov G. S. «Dnevnik Pisatelya» i bibleyskaya kniga Sudey, ili O poetike istoricheskogo povestvovaniya i istokakh polifonii Dostoevskogo [‘A Writer’s Diary’ and the Book of Judges: on the Poetics of History and Origins of Dostoevsky’s Polyphony]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 1, pp. 110–121. doi 10.17072/2073-6681-2019-1-110-121 (In Russ.)

Рассматривается поэтика публицистики Достоевского, прежде всего – создание писателем особой «расширенной реальности», где сконструированный мир – своеобразный «слоеный пирог», объекты которого как отсылают к фактам эмпирического бытия, так и ведут за рамки журналистского дискурса, в креативный вымысел. Газетное или эпистолярное сообщение, художественная вариация, личное воспоминание, герои других художественных произведений совмещены Достоевским в одной плоскости. Биографический рассказ жены о встрече на петербургской улице с глубокой старушкой оборачивается историей о столетней, идущей в гости к правнукам и умирающей в их доме. Ближайшей типологической параллелью к публицистике Достоевского в плане совмещения истории как последовательности фактов и истории как нарратива оказывается «ближневосточная словесность» (С. С. Аверинцев), например, исторические книги Библии. В их основе – подобное же пересечение истории и литературы, подобная же наполненность изображенных фигур «чужими» (М. М. Бахтин) голосами и жестами, уже произнесенными в Пятикнижии. Подобно древнему книжнику, Достоевский смотрит на окружающий его мир как на сакральный объект, стремясь прозреть в фактах *высшие* прообразы, *высший* сюжет и *высшую* авторскую волю. Это тяготение к библейскому образцу обуславливает уникальность публицистики Достоевского в контексте журналистики XIX в., например, привносит в журналистский текст полифоничность, так что текст вместо прямого высказывания своего автора становится медиальным пространством, вмещающим многочисленные голоса, личности и их установки на мир.

**Ключевые слова:** Достоевский; публицистика; «Дневник Писателя»; Библия; история; нарратив.

«В это утро я слишком запоздала, – рассказывала мне на днях одна дама, – и вышла из дому почти уже в полдень, <...> и у самых ворот дома встречаю эту самую старушку, и такая она мне показалась старенькая, согнутая, с палоч-

кой, только все же я не угадала ее лет; дошла она до ворот и тут в уголку у ворот присела на дворницкую скамеечку отдохнуть. Впрочем, я прошла мимо, а она мне только так мелькнула. <...>

Выслушал я в то же утро этот рассказ, – да, правда, и не рассказ, а так, какое-то впечатление при встрече с столетней (в самом деле, когда встретишь столетнюю, да еще такую полную душевной жизни?), – и позабыл об нем совсем, и уже поздно ночью, прочтя одну статью в журнале и отложив журнал, вдруг вспомнил про эту старушку и почему-то мигом дорисовал себе продолжение о том, как она дошла к своим победать; вышла другая, может быть, очень правдоподобная маленькая картинка» (XIII, 85–86)<sup>1</sup>.

Реальная старушка с петербургской улицы, реальная история, рассказанная Достоевскому женой, А. Г. Сниткиной, продолжается в некоей истории, сочиненной писателем. Причем акцент фрагмента скорее на этом вымышленном продолжении, нежели на самом факте встречи.

«Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это – черти, тема о чертях, о спиритизме. В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, – и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Уверяют, что у одной дамы, где-то в губернии, в ее доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди. Да у нас ли не найдется чертей! Гоголь пишет в Москву с того света утвердительно, что это черти. Я читал письмо, слог его» (XIII, 37).

Общественная дискуссия о спиритизме, проверка Менделеевым и комиссией под его руководством медиумов братьев Петти и Клайр, информация о братьях Горацио и Вильяме Эдди переплетаются с частной перепиской с Вс. С. Соловьевым, романом Бичер-Стоу, полемикой вокруг черновиков ко второму тому «Мертвых душ» Гоголя, якобы сохранившихся у полковника Ястржембского, но оказавшихся его подделкой. (А. Н. Пыпин, защищая версию о подлинности, допустил, что тексты могли быть продиктованы Гоголем с того света, поскольку Ястржембский был спиритом.)

Творческое, преобразующее видение автора-творца направлено на публичную сферу, которая, впрочем, выступает приглашением к разговору и предоставляет ряд хорошо узнаваемых фактов. Наррация выстроена таким образом, чтобы уйти от реальности фактов, сформировать им некую альтернативу. Альтернативу, в которой средоточие – авторское видение (см.: [Прохоров 2016]). Собственно, Достоевский эксплицированно указывал на такой путь работы с фактами:

«Если б я был живописец, я именно бы написал этот “жанр”, эту ночь у еврейки-родильницы.

Я ужасно люблю реализм в искусстве, но у иных современных реалистов наших нет нравственного центра в их картинах <...>. Да и для художника роскошь сюжета. Во-первых, идеальная, невозможная, смрадная нищета бедной еврейской хаты. Тут можно бы много даже юмору выразить и ужасно кстати <...>. С тонким чувством и умом можно много взять художнику в одной уже перетасовке ролей всех этих нищих предметов и домашней утвари в бедной хате, и этой забавной перетасовкой сразу оцарапать вам сердце. Да и освещение можно бы сделать интересное: на кривом столе догорает оплывшая сальная свечка, а сквозь единственное заиндевевшее и обледенелое оконце уже брезжит рассвет нового дня, нового трудного дня для бедных людей. Трудные родильницы часто родят на рассвете: всю ночь промучаются, а к утру родят. Вот усталый старичок, на миг оставив мать, берется за ребенка. Принять не во что, пеленок нет, ни тряпки нет (бывает этакая бедность, господа, клянусь вам, бывает, чистейший реализм – реализм, так сказать, доходящий до фантастического), и вот праведный старичок снял с плеч рубашку и разрывает ее на пеленки. Лицо его строгое и проникнутое. Бедный новорожденный еврейчик копошится перед ним на постели, христианин принимает еврейчика в свои руки и обвивает его рубашкой с плеч своих» (XIV, 104–105).

Прекрасный набросок для рассказа. Но есть одно «но»: перед нами журналистика. Было ли так, как сообщено? Не Достоевский ли конечный автор передаваемого им случая? Вопросы, видимо, почувствованные Д. Дарским, подчеркнувшим, что «Достоевский никогда не был бытовиком, пошлостью, обыденностью и ничтожностью жизни его никогда не интересовали сами по себе <...> при всем кажущемся натурализме Достоевский оставался визионером и фантастом, окруженным мистически-загадочным роєм видений, образов и снов» [Дарский 1924: 200].

Публицистика Достоевского пронизана этим пересечением историчности и креативной альтернативы; предлагается факт как бы в двух ипостасях – как выглядящее и как сущее. Причем акцент автора-творца направлен на последнее, приоткрывающееся в творческой переработке видимых реалий.

### История: между наукой и рассказом

Письмо художественное и письмо историческое – две формы словесности, замеченные еще на самой заре филологической рефлексии: «...задача поэта – говорить не о происшедшем, а о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости. Историк и поэт

различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой. Ведь сочинения Геродота можно было бы переложить в стихи, и все-таки это была бы такая же история в метрах, как и без метров. Разница в том, что один рассказывает о прошедшем, другой о том, что могло бы произойти» ([Аристотель 1984: 655], ср.: [Jancko 1987: 91–92]). Пока мы находимся в мире, где существует некое единое, общепринятое прошлое, разграничение Аристотеля рабочее. Одно письмо о сущем и случившемся, другое – о не сущем, но в реальность которого вполне можно бы и поверить. Ведь ключевой разграничитель для аристотелевской традиции – это не сущее vs. вымысел, а скорее сущее на самом деле vs. способное существовать:

Художникам, как и поэтам,  
Право дерзанья на все одинаково всем представлялось.  
Знаем и милость мы эту даем и просим взаимно,  
Только не с тем, чтоб сливать свирепое с кротким,  
не с тем, чтоб  
Змеи и птицы в любви сочетались, ягнята и тигры.  
[Гораций 1993]

Аристотель и порожденная им традиция ведет речь не о фантазмах, она никогда не признавала за поэтом права на свободный вымысел:

Если б художнику вдруг к голове человека приставить  
Вздумалось шею коня, разукрасивши в пестрые перья,  
Члены отвсюду собрав, чтоб уродливо черною рыбой  
Кончилась женщина, сверху прекрасная, и довелось бы  
Видеть вам это, друзья, вы могли б удержаться от смеха?  
[там же]

Речь идет скорее о праве наложить ретушь на слепок. Разграничивая литературу и историю, философ оставил эти две области словесности теснейшим образом переплетенными. С одной стороны, нечто ученое и бывшее; с другой – рассказ, нарратив, у которого есть свой автор (Εὐαγγέλιον *κατὰ* Ματθαίου). И если для ряда историков, например, для Антонио Лабриолы, история – явление объективное [Лабриола 1898: 17], то для других, например, для Бенедетто Кроче, она неизбежно субъективна и вне связи с субъектом теряет всякий смысл: «...факт, из которого творится история, должен жить в душе историка <...> если этот факт сопровождается толкованием или пересказом, это лишь обогащает его, но сам факт ни в коем случае не утрачивает своей значимости, эффекта своего присутствия» [Кроче 1998: 9], «...какой нынешний интерес можно усмотреть в истории Пелопоннесской войны или войны с Митридатом, в мексиканском искусстве или арабской философии? По мне, в данный момент – никакого, значит, для меня в данный момент это вовсе не история, в лучшем случае названия исторических книг...» [там же: 10]. Возможность «вытащить» из нарратива собственно исторические факты – проблема, инте-

ресовавшая и XIX в. ([Погодин 1838; Ключевский 1871]) и продолжающая интересовать современность [Святославский 2017].

Введение субъекта, отношение которого к материалу дифференцирует типы письма, серьезно усложняет аристотелевскую дефиницию: границы «могущего быть» передаются в руки человеческие – автора и /или читателя. А соответственно, – нравится это [Барт 1994: 384] или не нравится [Гуревич 1996: 6] – исторический текст смыкается с критиками – Feminist, Social, Post-Colonial & others; граница между художественным письмом и историческим во многом становится гранью между History и Alternative History.

«...[Н]ет рационального исторического *познания*. Достоверный, но единственный факт не историчен; только связанный с другим фактом он образует историю, связь же возможна лишь в повествовательном, хотя бы минимальном, высказывании <...>. Верно и обратное: если нет истории, то нет и повествования» [Котельников 2013: 11].

Проблемность исторического как типа текста – явление, отнюдь не выявившееся в XX в. [см. обзор: там же: 12–28] и в общем-то не связанное постмодернизмом. Два дискурса издавна смешиваются, перетекают один в другой, как это прекрасно видно у Н. М. Карамзина:

«Летописи в первый раз упоминают об нем в конце XII века; он может быть, древнее – и гораздо древнее Москвы. Вообще имя Коломны встречается в Истории по двум случаям: или Татары жгут ее, или в ней собирается Русское войско итти против Татар <...>. Что касается до имени города, то его для забавы можно произвести от славной Итальянской фамилии Colonna. Известно, что Папа Бонифаций VIII гнал всех знаменитых людей сей фамилии, и что многие из них искали убежища не только въ других землях, но и в других частях света. Некоторые могли уйти въ Россию, выпросить у наших великих Князей землю, построить город и назвать его своим именем!» [Карамзин 1997: 241].

В историческое повествование Карамзин вплетает откровенную байку о Карле Колонне. Дело, впрочем, осложнено тем, что в документах конца XVIII – XIX в. эта байка была почти «общим местом» (см.: [СПб ФИРИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. № 513. Л. 29; Ф. 36. Оп. 1. № 512. Л. 9 об.; Ф. 513. Оп. 1. № 514. Л. 15 об.]), более того, оказалась отражена на городском гербе.

Или находим у Н. П. Гилярова-Платонова:

«Как подобает старине, город потонул в легендах. В одной из башен содержалась Марина Мнишек: это исторический факт. В той же башне кроются несметные богатства: это легенда. В одной из церквей венчался Димитрий Донской и

осталось его кресло. Это тоже история (сохранилось ли кресло донныне, не имею сведения). А об одной башне в зимние вечера при горящей лучине (свечи у нас полагались почти только для гостей) тетушка Марья Матвеевна заводила речь, что башня эта, угольная, к Москве-реке, называется “Мотасовою”, и вот почему: на ней сидел черт несколько сот лет и мотал ногами» [Гиляров-Платонов 2016: 29].

Приводимые исторические факты о заточении Марины Мнишек в башне или о кресле Дмитрия Донского – такие же байки, как о мотающем ногами черте. Хотя... и гораздо более правдоподобные, вплоть до археологических раскопок 1903 г. в Наугольной башне Коломенского кремля, вплоть до полемики историков П. Пирлинга и Г. Т. Синюхаева о судьбе Марины Мнишек [Линдеман 1910], вплоть до указания Коломны местом смерти Марины Мнишек в польской Википедии...

По меньшей мере с XVIII в. русская литература активно играет с переплетением истории и вымысла. В XIX в. это взаимодействие становится еще более сложным, по мере того как выделяется еще одна словесная сфера – журналистика. Собственно, еще Аристотель отделял художественное письмо не только от исторического, но и от риторики. При этом если дифференцирующая с историей дефиниция была введена, то грань поэтики и риторики в общем-то осталась открытой [Herrick 2000: 86–88]. Как и история, журналистика концентрируется на бывшем, обсуждает общественно значимые факты. Но опять-таки что есть факт? Где его границы? Где личное мнение журналиста переходит в пропаганду и вымысел – в пресловутые ныне *fakenews*? Историк Карамзин, мемуарист Гиляров-Платонов, писатель Достоевский задействуют в общем-то один и тот же нарратологический инструментарий – конструируют «дополненную реальность», отпочковываясь от некоторых фактических деталей. Сама грань бывшего и способного быть становится для них точкой креативных усилий.

### Библия рассказывает историю

Задолго до Достоевского, а значит, и XIX в., словесность начала осваивать сферу, которая затем станет дискурсивной границей художественной и исторической прозы. Например, библейская книга Судей, повествующая о событиях еврейской истории от смерти Иисуса Навина до Самуила. Перечисление различных ситуаций, в которых оказывался народ, бедствий, нашествий, покаяний, чудесных спасений – это все то, что дало основание составителям библейского канона воспринять эту книгу как историческую.

Стандартной формулой вводится и фрагмент о Гедеоне: «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Маданитян на семь лет» [Суд. 6: 1]. В какой-то момент народ традиционно кается: «и возопили сыны Израилевы к Господу», а Бог посылает избавление: «послал Господь пророка к сынам Израилевым». Однако рассказ о призвании Гедеона не столь прост – за стандартными для книги речевыми формулами лежит напластование противоречивых нарративных стратегий. Есть нарратив общественной истории, официальный и патетичный: «послал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства; избавил вас из руки Египтян и из руки всех, угнетавших вас, прогнал их от вас, и дал вам землю их...» [Суд. 6: 8–9]. Рядом с ним есть нарратив частный: «И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от Маданитян» [Суд. 6: 11]. Пресловутое «как было» оказывается проблематизированным. Например, мы так и не знаем, поставил ли Бог Гедеона судьей публично или ангел незаметно для всех явился к прячущемуся Гедеону, так что никто в момент инициации так и не узнал о свершающемся ключевом событии.

Если всмотреться в диалог Гедеона и Ангела, то видно, насколько их разговор [Суд. 6: 12–19] сплетен из уже звучавших в Библии голосов, иначе говоря, наполнен «двухголосыми» (М. М. Бахтин) словами.

«[К]как спасу я Израиля? вот, и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший», – сетует Гедеон, но за этими словами мы слышим и другие: «Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» [Исх. 3: 11];

«[Е]сли я обрел благодать пред очами Твоими, – говорит Гедеон, – то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною: не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе и не принесу дара моего и не предложу Тебе», – и опять же слышим отнюдь не исключительно это, но и: «...и сказал [Авраам]: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь» [Быт. 18: 3–5].

Сомнения и рефлексия «если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? и где все чудеса Его <...> [н]ыне оставил нас Господь и предал нас в руки Маданитян» вроде как Гедеоновы,

но не о том же ли думал Моисей, противостоя фараону: «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи! для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим; избавить же, – Ты не избавил народа Твоего» [Исх. 5: 22–23].

Хронотоп, в котором Ангел находит Гедеона, – тоже не исключительно его: дуб, козленок, нежданный пришелец, Бог – это уже однажды было: «И явился ему Господь у дубравы Мамре <...>. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял тельца нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и тельца приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели» [Быт. 18: 1, 6–8].

Личность, таким образом, в исторической книге Библии изображена не просто как-она-есть, а ответом, переплетением слов других личностей, как их вариация. Слова, мысли, чувства Гедеона даны в сплошном обрамлении других библейских фрагментов. Контекст буквально врывается в нарратив, оставаясь за горизонтом лишь самого Гедеона. Фрагмент, собственно, строится на этом несовпадении сюжетной событийности и нарративного «избытка видения». Гедеон плохо знает Библию, не очень верит в историю Исхода в этот семантический центр Ветхого Завета в еврейской традиции – «где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши...». И в то же время: «Гедеон пошел и приготовил ... опресноков из ефы муки». Опресноки, иначе говоря маца, ассоциируются с Песачом, сомнение в историчности которого Гедеон только что выразил.

И что за силу – «Господь, возрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки Маданитян» – вдруг обнаружил Бог в весьма жалкой фразе Гедеона: «Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? и где все чудеса Его?» Контекстные параллели, неизвестные или забытые самим Гедеоном, но открытые ангелу и Богу, равно как и читателю. Внешний наблюдатель, знакомый с Пятикнижием, испытывает при чтении этого фрагмента дежавю: много веков спустя, опять сидит *Авраам*, который вот-вот опять побежит за козленком и хлебом, но который, однако, практически ничего не знает ни об Аврааме, ни о том, насколько они похожи.

Прозвучавшие однажды слова погружаются в прошлое, но не в небытие, так что обрывки этих

слов сохраняют актуальность и способность обернуться новым настоящим.

Текст книги Судей выткан героями-двойниками, бесконечно зеркалящими друг друга – чаще всего за пределами их эксплицированного кругозора. Текст использует речевые пересечения как стартовую черту, как предмет для разговора, как фон, на котором будет разыграна драма, испытывающая все фигуры книги, ставящая их на самую грань надежды и отчаяния, близости к Богу и греха, геройства и трусости.

### Библейские истории в их нарративности и полифоничности

По мысли С. С. Аверинцева, античные жанровые понятия, сформировавшие европейскую поэтику и эстетику, лишены конвергентности с древней словесностью Ближнего Востока [Аверинцев 1996: 14–15]. Различающие дискурсы грани пролегают по-разному. А потому приложить к книге Судей историю в аристотелевском духе («подражание тому, что было») – крайне проблематично. Древний Ближний Восток не знал «эстетической автономии» – краеугольного камня европейского художественного письма. Зато сформировал «ученую словесность». Вот и книга Судей – поучающая история, прозревающая глубь веков, и одновременно – нарратив, рассказанный кем-то и кому-то, частный, сиюминутный, личный. «В те дни не было царя у Израиля...» – повторяющийся рефрен книги Судей – книги, составленной уже при дворе и в эпоху царств [Matthews 2004: 23]. Это сожаление нарратора, определяющее сам тон истории, – оценка? ирония? пропаганда? Что бы ни было: это не бывшее, а голос другой эпохи, говорящий извне и поверх приводимых событий.

Совершенно иначе, нежели литература античного мира, библейский автор выводит на первый план мир как мозаику, складывающуюся из личностей, их видений и их голосов. И в отличие от автора греческого, библейский автор отказывается от хора – усредненной, объективной, сгармонизированной позиции. Голоса повсеместно сталкиваются, накладываются один на другой, не совпадая, противореча: «И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: “Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал “Я не нарушу завета Моего с вами вовек; и вы не вступайте в союз с жителями земли сей; жертвенники их разрушьте”. Но вы не послушали гласа Моего. Что вы это сделали? И потому говорю “Я не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью”. Когда Ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От сего и

называют то место Бохим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу...» [Суд. 2: 1–7].

Но... изгнали ли они ханаанеев затем? Считает ли Ангел, что ханаанеи должны быть изгнаны? Поменялся ли первоначальный план? Но тогда зачем нужно осуждение Ангела? Можно ли служить Богу на земле, в которой бок-о-бок живут язычники? И т. д. И т. п. Потенциально возможные варианты будущего сосуществуют параллельно – неслиянно и нераздельно. Мы видим отраженное в речи столкновение, коллизии, но не разрешение ее в некоем новом высказывании, выражающем консенсус.

Не из чтения ли Библии пошла полифоничность Достоевского и его публицистика, не соответствующая общепринятым представлениям о журналистском письме?

Подобно историческим книгам Библии, голоса, сталкивающиеся один с другим, приходящие откуда-то и уходящие вовне, разнообразие несводимых к единой позиции личностей и их взглядов на мир – это визитная карточка поэтики Достоевского [Бахтин 2000: 12]. Подобная техника, акцентирующая персональность изображаемого [там же: 15], параллельно задает полифонический «ландшафт» [там же: 68]. Эта техника прослеживается не только в рамках фикционального мира писателя, но и парадоксальным образом обустроивает его журналистику, например, «Дневник Писателя» [Сидоров 1924: 114–115].

Тема Достоевский и Библия более чем проработана. Однако внимание исследователей падает на Новый Завет ([Тихомиров 2017; Евангелие 2017]), тогда как воздействие Ветхого Завета на писателя оказалось в тени. Книга Судей примечательна тем, что ее сюжеты и герои находились в творческом сознании писателя. Например, у Достоевского присутствует Гедеон – в оде «На европейские события в 1854 году»:

Но с нами бог! Ура! Наш подвиг свят,  
И за Христа кто жизнь отдать не рад!  
Меч Гедеонов в помощь угнетенным,  
И в Израили сильный Судия! [IX, 341].

### Достоевский рассказывает историю

Сопряжение разных личностей – эмпирических и фикциональных, увиденных сейчас и давным-давно – носит в публицистике Достоевского текстопорождающий характер. Если мы обратимся к фрагменту «Дневника Писателя» за 1877 г., посвященному полемике с В. Г. Авсеенко, то на поверхности найдем «агон» – идеологическое и личное противоборство журналистов разных идеологических станом: «...читатель ви-

дит, с каким критиком имеет дело, и уже отсюда слышу вопросы: да зачем же вы с ним связываетесь?» (XIV, 123). Достоевский сталкивается с Авсеенко – все, как и свойственно журналистике. Однако отнюдь не все, так что буквально предположением спустя обнаруживаем, что биографический Авсеенко автора «Дневника Писателя» мало интересует: «Повторяю еще раз, что хочу лишь разъяснить собственную оплошность, а собственно г-ном Авсеенко занимаюсь в эту минуту, как и сказал выше, не как критиком, а как отдельным и любопытным литературным явлением. Тут своего рода тип, мне полезный» (там же). Писателя интересует Авсеенко как тип, впрочем, в обычном мире был конкретный Василий Григорьевич, типа же не существовало.

Наш журналист ведет полемику с лицом, которого сам и выдумал?

Перед нами журналистика, которая использует формы и ходы классические для этой области, но замещает фактическую персональность голосами вторичными и перекомбинированными в соответствии с творческим видением автора-творца. А параллельно завлекает нас в «расширенную реальность», где позади реальных фигур действуют некие характеры, созданные автором, но якобы выражающие реальность лучше оригинала: «...не в том совсем дело, а в том, что я сущность писателя понял, <...> г-н Авсеенко изображает собою, как писатель, деятеля, потерявшегося на обожании высшего света. Короче, он пал ниц и обожает перчатки, кареты, духи, помаду, шелковые платья (особенно тот момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стана) и, наконец, лакеев, встречающих барыню, когда она возвращается из итальянской оперы» (XIV, 124). Допустим, что Достоевский, действительно, «раскусил» *всего* Авсеенко. Однако это «прозрение» автора «Дневника Писателя» взято из романа «Млечный путь» самого Авсеенко: «Раиса Михайловна подошла к барьеру ложи и, мягко волнуя тяжелые складки платья, опустилась на свое обычное место. Облитая перчаткой рука ее поправила скользившие по плечу локоны и подняла бинокль...» (цит. по: XIII, 466).

Достоевский вменяет биографическому Авсеенко «особого рода манию, почти болезненную» – «Карета высшего света едет, например, в театр: вы только посмотрите, как она едет и как свет от фонарей, врываясь в окошки кареты, веселит в ней сидящую даму: это уж не перо, это молитва, и этому надобно сострадать!» (XIV, 125). Но это видение снова заимствовано. И снова из романа самого Авсеенко. «Лошади быстро несли по подмороженному снегу; свет от уличных фонарей врывался в карету скользкими пятнами, на мгновение озаряя лицо княгини, до

половины закрытое соболями. Ее глаза, задумчиво обращенные на Юхотского, как бы вспыхивали при этом переменяющемся освещении, неопределенно и радостно волнуя его» (цит. по: XIII, 467). (Не предугадывает ли тут Достоевский-критик логические ходы психологизма и психоанализа, которые увидят в героях литературы разные стороны авторской персональности?)

Факт – эмоциональное впечатление – ряд параллелей-аналогов – все более и более отдаленные ассоциации... Это почти композиционная схема публицистики Достоевского.

Вместо реальности, которую публицист обсуждает с нами, мы в мире, сплошь состоящем из цитат и парафразов, отсылающих друг к другу. Но перед нами не просто набор аллюзий. То, как Достоевский-публицист видит мир, – это особое применение концепции прообразований – влиятельного в русской экзегетической традиции XIX в. метода чтения Ветхого Завета. Согласно ему, конечный смысл Ветхого Завета раскрывается лишь в Новом, а потому «...заключенные в лицах, событиях и священных вещах и действиях Ветхого Завета <суть>предызображения того, что в Новом Завете относится к лицу Иисуса Христа и к основанной Им Церкви» [Смирнов 1852: 4]. Смысловый акцент переносится с причины на следствие, так что *высшее* значение события прошлого проступает при правильном его соотношении с событием в будущем [там же: 5]. (Понятно, что с сугубо литературоведческой точки зрения, такое прочтение является созданием нового произведения – Ветхого Завета христианской Библии на месте ТаНаХа – бывшего целого [Thompson 1989: 45–46] и в этом плане сродни сверхинтерпретации [Есо: 1992, 45–53]. Однако для христианского мира [Смирнов 1991: 93] и для XIX в. с его верой в «высоту времени» европейской культуры, цивилизации, религии [Ортега-и-Гассет 2008: 31–34] такая методология была более чем распространенной.)

Достоевский относится к профанной реальности так, будто она сакральна и наполнена прообразами. Именно поэтому приводимые им высказывания оказываются «двойным словом», намеком на нечто другое, а аллюзивный план – чуть ли не более существенным по семантике.

Но если Библия – текст, заверченный с большим, но все же конечным числом «параллельных мест», то реальность ежемоментно выбрасывает на поверхность все новые и новые события и ситуации. А потому прообраз и противополообраз должны быть не просто связаны, но сперва найдены в текущем потоке. И лишь затем совмещены, чтобы наметить контуры реальности высшей. Работая с реалиями текущей жизни, Достоевский оказывается в «творческом хроно-

пе», с которым некогда столкнулись авторы исторических книг Библии, книги Судей в частности. Не потому ли в публицистике Достоевского мы, читатели, движемся между рядами потенциальных прообразов. Например, обнаруживаем, что за предпринятой полемикой Достоевский vs. Авсеенко стоит не просто общественно значимый факт, не просто роман Авсеенко, но и некий случай, приключившийся некоторое время назад с Достоевским:

«Кстати, припоминаю теперь один случай, бывший со мною два с половиною года назад. Я ехал в вагоне в Москву и ночью вступил в разговор с сидевшим подле меня одним помещиком <...>. Был он чрезвычайно порядочного типа – в манерах, в разговоре, в суждениях и говорил даже очень толково <...>. И что же вы думаете: вдруг, как-то к слову, совершенно не заметив того, он изрек, что считает себя и в физическом отношении несравненно выше мужика и что это уж, конечно, бесспорно.

– То есть, вы хотите сказать, как тип нравственно развитого и образованного человека? – пояснил было я.

– Нет, совсем нет, совсем не одна нравственная, а прямо физическая природа моя выше мужицкой; я телом выше и лучше мужика <...>.

Спорить тут было нечего: этот слабый человек, с золотушным красным носом и с большими ногами (в подагре, может быть, – дворянская болезнь) совершенно добросовестно считал себя физически, телом, выше и прекраснее мужика!» (XIV, 125–126).

1876 год. Федор Михайлович пишет о юбилее Российского общества покровительства животным. Формально ближайший жанр – статья: «В № 359 “Голоса” мне случилось прочесть о праздновании торжественного юбилея первого десятилетия Российского Общества покровительства животным. Какое приятное и гуманное общество! Сколько я понял, главная мысль его заключается почти вся в следующих словах из речи князя А. А. Суворова, председателя Общества:

“И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в покровительстве животным большинство не желало видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие проистекают из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными”.

И действительно, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги “Обществу”, а и человек, русский человек, которого надо образить и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать. Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. А потому, хоть я и очень люб-

лю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому “Обществу” дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварнары, ждущие света!» (XIII, 29–30).

Ирония, обусловленная несоответствием целей благотворительного общества, социальных проблем в стране, информационной помпы в освещении юбилея? – ее тон мы ощущаем. В обществе, наполненном насилием, плохо ведающем о ценности человеческой жизни, заниматься покровительством животным в каком-то смысле странно. Но за первым слоем, проявляющем полемичку Достоевский vs. журналист «Голоса», скрываются другие планы. Например, заданное локкианской традицией и ставшее типичным для Европы XVIII–XIX вв. восприятие отношения людей к животным: «Локк был одержим животными. <...>. То, как дети обращаются с животными, для него было моральным тестом, проявлением внутреннего “я” ребенка. Каждый, кто “находит удовольствие в издевательствах и уничтожении низших тварей, не способен проявлять сочувствие или быть добропорядочным по отношению к окружающим”» [Leger 2008: 108–109]. «Наши дети, – продолжает Достоевский, – воспитываются и возрастают, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам» (XIII, 30). Мужик, секущий свою последнюю клячу по глазам; ребенок, наблюдающий эту картину, – это уже не просто причина, вызвавшая Общество к жизни, и не просто Локк. Однажды это уже было... в романе «Преступление и наказание». Художественный/ые мир(ы) вклинивае(ю)тся в реальность, становятся призмой, через которую мир обретает *высший* смысл и мозаичный образ. Достоевский иронизирует над высокопарным слогом председателя Общества, но вопреки этому слогу Достоевский обнаруживает и прообразы, подчеркивающие важность предпринимаемого Обществом дела – дела, которое защищает социум от раскольниковых.

«Преступление и наказание» с его героями и сюжетом – последняя ли отсылка в разговоре о злободневности сегодняшнего дня? Вряд ли: роман Достоевского – еще один шаг в череде поиска прообраза. Неудивительно, что позади романа окажется еще один жизненный факт:

«Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году <...>. Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, <...>. Был май месяц, было жарко. <...>. Мы с братом стремились тогда, в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», – тогда это сло-

вечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. <...>. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. <...>. И вот раз, перед вечером, мы стояли, на станции, на постоялом дворе, в каком селе не помню, кажется в Тверской губернии <...>

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская <...>. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбегал с ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. <...>. Парень воротится, смеются над ним: *Ишь, тебе фельдъегерь шею накомтылял*, а парень, может, в тот же день прибьет молодую жену: *Хоть с тебя сорву*; а может, и за то, что *смотрела и видела...*» (XIII, 32).

Случай из биографической жизни самого Федора Михайловича занимает теперь место ключевого прообраза: «Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. <...>. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание» (XIII, 33).

Впрочем, перед нами ведь не просто нарратив об изувере-фельдъегере. Он едет в тройке, которая несется по провинциальной дороге, – это же вкрапление голоса из «Мертвых душ»: «И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, изредка только потряхивая вприсонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно нивесть в каком месте след тел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: “Не бойся!” Лошадки расшевелились и понесли <...>. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды?» [Гоголь 1951: 246]. Патриархальная и благоже-



тальная утопичность («уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка») уходит, уступив место чиновничьему техникцизму и упоению властью. Впрочем, такой Всадник в русской литературе уже тоже был:

Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?  
Омощенный властелин судьбы!  
Не так ли ты над самой бездной  
На высоте, уздой железной  
Россию поднял на дыбы?  
[Пушкин 1977: 286]

Общеизвестно: у Достоевского библейский текст регулярно выступает в качестве подтекста (см.: [Гроссман 1921: 107; Прохоров 2013: 386–400; Касаткина 2015]). Примечательно: влияние Библии отнюдь не ограничивается текстовыми пересечениями или заимствованными максимами и мотивами. Достоевский видит окружающий его повседневный и внешне профанный мир сквозь Библию; он использует интратекстовый инструмент Библии – ряды «параллельных мест», систему ‘прототип – образ’ для «прочтения» внебиблейской реальности. В этом использовании элементов поэтической техники, сформировавшей библейские исторические книги, в культурных условиях Европы конца XIX в. зиждется уникальность журналистики Достоевского и его взгляда на окружающий мир как публициста.

### Примечание

<sup>1</sup> При цитировании текстов Ф. Достоевского в круглых скобках указываются номер тома и номера страниц по: Собр. соч.: в 15 т. (Л.: Наука, 1988–1996).

### Список литературы

*Аверинцев С. С.* Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»: (противостояние и встреча двух творческих принципов) // *Аверинцев С. С.* Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Языки рус. культуры, 1996. С. 13–75.

*Аристотель.* Поэтика // *Сочинения*: в 4 т. М.: АН СССР; Мысль, 1984. Т. 4. С. 645–680.

*Барт Р.* Смерть автора // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 384–391.

*Бахтин М. М.* Проблемы творчества Достоевского // *Собр. соч.*: в 7 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 11–174.

*Гиляров-Платонов Н. П.* Из пережитого: Автобиографические воспоминания: [коломенские главы]. Коломна: ИД «Лига», 2016. 528 с.

*Гоголь Н. В.* Мертвые души // *Полное собрание сочинений*: в 14 т. М.: АН СССР, 1951. Т. 6. 923 с.

*Гораций.* Собрание сочинений. СПб.: Биографический институт; Студия биографика, 1993. URL: [http://www.lib.ru/POEEAST/GORACIJ/hor1\\_6.txt\\_with-big-pictures.html](http://www.lib.ru/POEEAST/GORACIJ/hor1_6.txt_with-big-pictures.html) (дата обращения: 31.07.2018).

*Гроссман Л. П.* Путь Достоевского // *Гроссман Л. П.* (ред.) Творчество Достоевского. 1821–1881–1921: сб. статей и материалов. Одесса: Всеукраинское гос. изд-во, 1921. 152 с.

*Гуревич А. Я.* Историк конца XX в. в поисках метода // *Одиссей. Человек в истории*. М.: Наука, 1996. С. 5–10.

*Дарский Д.* Достоевский-мыслитель // *Творческий путь Достоевского* / под ред. Н. Л. Бродского. Л.: Сеятель, 1924. С. 197–215.

*Достоевский Ф. М.* Собрание сочинений: в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996.

*Евангелие Достоевского*: в 3 т. / под ред. В. Н. Захарова. Тобольск: Возрождение Тобольска, 2017. URL: <http://deniskmc.beget.tech/library.html> (дата обращения: 28.07.2018).

*Карамзин Н. М.* Путешествие вокруг Москвы // *Коломенский альманах*. Коломна: КГПИ, 2007. Вып. 11. С. 239–242.

*Касаткина Т. А.* Священное в повседневном. Двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 528 с.

*Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1871. 496 с.

*Котельников В. А.* Ιστορία – Historia – История: история и эпика в их единстве и раздельности // *Дмитриев А. П.* (ред.) Никита Петрович Гиляров-Платонов: Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии. СПб.: Росток, 2013. С. 11–35.

*Кроче Б.* Теория и история историографии. М.: Языки рус. культуры, 1998. 192 с.

*Лабриола А.* К вопросу о материалистическом взгляде на историю. СПб.: Н.И. Березин и М. Н. Семенов, 1898. 95 с.

*Линдеман И. К.* Маринкина башня в Коломне. Вопрос о смерти Марины Мнишек. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. 35 с.

*Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс // *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. Дегуманизация искусства. Бесхребетная Испания. М.: АСТ; СТ Москва, 2008. С. 13–198.

*Погодин М. П.* Нестор, историческо-критическое рассуждение о начале русских летописей. М.: Унив. тип., 1839. 231 с.

*Прохоров Г.* Газетная заметка или эстетический объект? Фельетон как литературный жанр // *Przegląd Rusycystyczny*. 2016. № 3(155). С. 89–101.

*Прохоров Г. С.* Поэтика художественно-публицистического единства: (на материале литера-

туры периода классического посттрадиционализма): дис. ... д-ра филол. наук. М., 2013. 431 с.

Пушкин А. С. Медный Всадник // Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 4. С. 273–288.

Святославский А. В. Между вымыслом и реальностью: Художественная литература и публицистика как исторический источник // Профессиональная историография и историческая память: Опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-исторической перспективе / под ред. О. В. Воробьевой, О. Б. Леонтьевой. М.: Аквилон, 2017. С. 49–72.

Сидоров В. А. О «Дневнике Писателя» // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы / под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л.; М.: Мысль, 1924. С. 109–116.

Смирнов И. П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 28. Wien, 1991. 200 p.

Смирнов С. К. Предъизображение Господа нашего Иисуса Христа и Церкви Его в Ветхом Завете. М.: Университетская тип., 1852. 208 с.

Тихомиров Б. Н. Достоевский – «гениальный читатель» Священного Писания: (Задачи и принципы комментирования библейских интертекстов писателя) // Что и как читали русские классики? (От круга чтения к стратегиям письма) / под ред. Н. Ю. Грякаловой. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2017. С. 99–222.

Eco U. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge UK: Cambridge UP, 1992. P. 23–88.

Herrick J. A. The History and Theory of Rhetoric: An Introduction. 2-d ed. Boston: Allyn & Bacon, 2000. 304 p.

Janko R. (ed.) Aristotle: Poetics I with the Tractatus Coislinianus, a hypothetical reconstruction of Poetics II, the fragments of the On Poets. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987. 238 p.

Lerer S. Children's Literature: A Reader's History, From Aesop to Harry Potter. Chicago: Chicago Univ. Press, 2008. 390 p.

Matthews V. H. Judges and Ruth. Cambridge UK: Cambridge UP, 2004. 274 p.

Thompson L. L. From Tanakh to Old Testament // Approaches to Teaching the Hebrew Bible as Literature in Translation. N. Y.: MLA, 1989. P. 45–53.

## References

Aristotle Poetika [Poetics]. *Sochineniya*: v 4 t. [Collection of works in 4 vols.]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., Mysl' Publ., 1984, vol. 4, pp. 645–680. (In Russ.)

Averintsev S. S. Grecheskaya 'literatura' i blizhnévostoch'naya 'slovesnost': (protivostoyanie i vstrecha dvukh tvorcheskikh printsipov) [Greek 'literature' and Near Eastern 'narration': (the conflict and

encounter of the two literary principles)]. Averintsev S. S. *Ritorika i istoki evropeyskoy literaturnoy traditsii* [Averintsev S. S. Rhetoric and origins of European literary tradition]. Moscow, Languages of the Russian Culture Publ., 1996, pp. 13–75. (In Russ.)

Bakhtin M. M. Problemy tvorchestva Dostoevskogo [The Problems of Dostoevsky's Writing]. *Sobr. soch.*: v 7 t. [Collection of works: In 7 vols.]. Moscow, Russkie slovari Publ., 2000, vol. 2, pp. 11–174. (In Russ.)

Bart R. Smert' avtora [The Death of the Author]. Bart R. *Izbrannyye raboty: Semiotika. Poetika* [Selected works: Semiotics. Poetics]. Moscow, Progress Publ., 1994, pp. 384–391. (In Russ.)

Croce B. *Teoriya i istoriya istoriografii* [Theory and history of historiography]. Moscow, Languages of the Russian Culture Publ., 1998. 192 p. (In Russ.)

Darskiy D. Dostoyevskiy – myslitel' [Dostoevsky as a thinker]. *Tvorcheskiy put' Dostoyevskogo* [Dostoevsky's creative development]. Ed. by N. L. Brodskiy. Leningrad, Seyatel' Publ., 1924, pp. 197–215. (In Russ.)

Dostoyevsky F. M. *Sobraniye sochineniy*: v 15 t. [Collection of works: in 15 vols.]. Leningrad, Nauka Publ., 1988–1996. (In Russ.)

*Evangeliiye Dostoyevskogo*: v 3 t. [Dostoevsky's Gospel: in 3 vols.]. Ed. by V. N. Zakharov. Tobol'sk, Vozrozhdenie Tobol'ska Publ., 2017. Available at: <http://deniskmc.beget.tech/library.html> (accessed 28.07.2018). (In Russ.)

Gilyarov-Platonov N. P. *Iz perezhitogo: Avtobiograficheskie vospominaniya: (kolomenskie glavy)* [The by-gones: autobiographical memoirs (Kolomna chapters)]. Kolomna, ID 'Liga' Publ., 2016, 528 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. Mertvye dushi [Dead Souls]. *Polnoye sobraniye sochineniy*: v 14 t. [Complete collection of works: in 14 vols.]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1951, vol. 6. 923 p. (In Russ.)

Grossman L. P. Put' Dostoyevskogo [Way of Dostoevsky]. *Tvorchestvo Dostoyevskogo. 1821–1881–1921: Sbornik statey i materialov* [Dostoevsky's writings. 1821–1881–1921. Collection of articles and documents]. Ed. by L. P. Grossman. Odesa, Vseukrainskoe Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Publ., 1921. 152 p. (In Russ.)

Gurevich A. Ya. Istorik kontsa 20 v. v poiskakh metoda [The historian of the late 20<sup>th</sup> century in his search for method]. *Odissey. Chelovek v istorii. 1996* [Odysseus. Man in history. 1996]. Moscow, Nauka Publ., 1996, pp. 5–10. (In Russ.)

Horatius *Sobraniye sochineniy* [Collection of works]. St. Petersburg, Biographical Institute, Studiya biografika, 1993. Cited from: Available at: [http://www.lib.ru/POEEAST/GORACIJ/hor1\\_6.txt\\_with-big-pictures.html](http://www.lib.ru/POEEAST/GORACIJ/hor1_6.txt_with-big-pictures.html) (accessed 31.07.2018). (In Russ.)

Karamzin N. M. Puteshestvie vokrug Moskvy [Journey around Moscow]. *Kolomenskiy al'manakh* [Kolomna literary miscellany]. Kolomna, KSPI UP Press, 2007, vol. 11, pp. 239–242. (In Russ.)

Kasatkina T. A. *Svyashchennoe v povsednevnom. Dvusostavnyy obraz v proizvedeniyakh F. M. Dostoyevskogo* [Sacrality in mundane life. A two-part image in F. M. Dostoevsky's works]. Moscow, IWL RAS Publ., 2015. 528 p. (In Russ.)

Klyuchevskiy V. O. *Drevnerusskie zhitiya svyatykh kak istoricheskiy istochnik* [Old Russian lives of saints as a historical source]. Moscow, Izd. K. Soldatenkova Publ., 1871. 496 p. (In Russ.)

Kotel'nikov V. A. Ἱστορία – Historia – Istoriya: istoriya i epika v ikh edinstve i razdel'nosti [Ἱστορία – Historia – Istoriya. History and epics in their unity and separateness]. *Nikita Petrovich Gilyarov-Platonov: Issledovaniya. Materialy. Bibliografiya. Retsenzii* [Nikita Petrovich Gilyarov-Platonov. Studies. Documents. Bibliography. Reviews]. Ed. by A. P. Dmitriyev. St. Petersburg, Rostok Publ., 2013, pp. 11–35. (In Russ.)

Labriola A. *K voprosu o materialisticheskom vzglyade na istoriyu* [Essays on the Materialistic Conception of History]. St. Petersburg, Publishing House of N. I. Berezin and M. N. Semenov, 1898. 95 p. (In Russ.)

Lindeman I. K. *Marinkina bashnya v Kolomne. Vopros o smerti Mariny Mnishek* [Marinka's tower in Kolomna. The question of Marina Mniszech's death]. Moscow, Publishing House of G. Lissner and D. Sobko Publ., 1910. 35 p. (In Russ.)

Ortega-y-Gasset J. Vosstaniye mass [The revolt of the masses]. Ortega-y-Gasset J. *Vosstaniye mass. Degumanizatsiya iskusstva. Beskhrebetnaya Ispaniya* [The revolt of the masses. The dehumanization of art. Invertebrate Spain]. Moscow, AST Publ., ST Moskva Publ., 2008, pp. 13–198. (In Russ.)

Pogodin M. P. *Nestor, istoricheskoe-kriticheskoe rassuzhdenie o nachale russkikh letopisey* [Nestor, a critical and historical essay on the origins of Russian chronicles]. Moscow, University Publ., 1839. 231 p. (In Russ.)

Prokhorov G. S. Gazetnaya zametka ili esteticheskiy ob'ekt? Fel'eton kak literaturnyy zhanr [Newspaper information or fictional text? Feuilleton as a literary genre]. *Przeгляд Rusycystyczny* [Russian Studies Review], 2016, issue 3(155), pp. 89–101. (In Russ.)

Prokhorov G. S. *Poetika khudozhestvenno-publitsisticheskogo edinstva: (na materiale literaturnykh periodov klassicheskogo posttraditsionalizma)*. Dis. ... d-ra filol. nauk [Poetics of literary journalism from Enlightenment to Symbolism]. Dr. philol. sci. diss.]. Moscow, 2013. 431 p. (In Russ.)

Pushkin A. S. Mednyy Vsadnik [The Bronze Horseman]. *Polnoye sobr. soch.: v 10 t.* [Complete collection of works: in 10 vols.]. Leningrad, Nauka Publ., 1977, vol. 4, pp. 273–288. (In Russ.)

Sidorov V. A. O «Dnevnikе Pisatelya» [On 'A Writer's Diary']. *F. M. Dostoyevskiy: Stat'i i materialy* [F. M. Dostoevsky. Articles and documents]. Ed. by A. S. Dolinin. Leningrad, Moscow, Mysl' Publ., 1924, vol. 2, pp. 109–116. (In Russ.)

Smirnov I. P. O drevnerusskoy kul'ture, russkoy natsional'noy spetsifike i logike istorii [On Old Russian culture, Russian national specificity and logic of history]. *Wiener slawistischer Almanach*. Wien, 1991, vol. 28. 200 p. (In Russ.)

Smirnov S. K. *Pred"izobrazheniye Gospoda nashego Iisusa Khrista i Tserkvi Ego v Vetkhom Zavete* [Antitypes of Jesus Christ and his church in the Old Testament]. Moscow, University Publ., 1852. 208 p. (In Russ.)

Svyatoslavskiy A. V. Mezhdumyislom i real'nost'yu: Khudozhestvennaya literatura i publitsistika kak istoricheskiy istochnik [Between fiction and reality. Literature and journalism as historical sources]. *Professional'naya istoriografiya i istoricheskaya pamyat': Opyt peresecheniya i vzaimodeystviya v sravnitel'no-istoricheskoy perspektive* [Historiography and historical memory: Attempt of juxtaposition and interaction in a comparative historical perspective]. Ed. by O. V. Vorob'yeva, O. B. Leont'eva. Moscow, Akvilon Publ., 2017, pp. 49–72. (In Russ.)

Tikhomirov B. N. Dostoyevskiy – «genial'nyy chitatel'» Svyashchennogo Pisaniya: (Zadachi i printsipy kommentirovaniya bibleyskikh intertekstov pisatelya) [Dostoevsky as a 'brilliant reader' of the Holy Scripture. (Perspectives and principles in interpretation of biblical intertexts of the writer)]. *Chto i kak chitali russkiye klassiki? (Ot kruga chteniya k strategiyam pis'ma)* [What and how did Russian classics read? (From literary canon to strategies of writing)]. Ed. by N. Yu. Gryakalova. St. Petersburg, Izdatel'stvo 'Pushkinskiy Dom' Publ., 2017, pp. 99–222. (In Russ.)

Eco U. *Interpretation and Overinterpretation*. Cambridge UK, Cambridge UP, 1992, pp. 23–88. (In Eng.)

Herrick J. A. *The History and Theory of Rhetoric: An Introduction*. Boston, Allyn&Bacon, 2<sup>nd</sup> ed., 2000. 304 p. (In Eng.)

Janko R. (ed.) *Aristotle: Poetics I with the Tractatus Coislinianus, a hypothetical reconstruction of Poetics II, the fragments of the On Poets*. Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1987. 238 p. (In Eng.)

Lerer S. *Children's Literature: A Reader's History, From Aesop to Harry Potter*. Chicago, Chicago Univ. P., 2008, 390 p. (In Eng.)

Matthews V. H. *Judges and Ruth*. Cambridge UK, Cambridge UP, 2004. 274 p. (In Eng.)

Thompson L. L. From Tanakh to Old Testament. *Approaches to Teaching the Hebrew Bible as Literature in Translation*. New York, MLA, 1989, pp. 45–53. (In Eng.)

**‘A WRITER’S DIARY’ AND THE BOOK OF JUDGES:  
ON THE POETICS OF HISTORY AND ORIGINS OF DOSTOEVSKY’S POLYPHONY**

**George S. Prokhorov**

**Professor in the Department of Literature**

**State University for the Humanities and Social Studies**

30, Zelenaya st., Kolomna, 140415, Russian Federation. hoshea.prokhorov@gmail.com

SPIN-code: 7506-0123

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4652-8698>

ResearcherID: I-9202-2018

*Submitted 07.09.2018*

Based on *A Writer's Diary*, we consider some elements of Dostoevsky's journalism, namely what can be called 'extended reality', which is emblematic of the writer's works and which has always excited interest of many of the readers and professional critics. Despite the emerging vision of journalism as an analytical field where a journalist interprets facts rather than creates or deliberately changes them, Dostoevsky writes his articles in a "layer-like" manner, as their subjects refer both to the facts of social life and to fiction. Information from newspapers or his private letters, events from Dostoevsky's past, protagonists of other writers, and fictional sketches form a peculiar blend. For example, his wife's narrative about her meeting with an old woman in a street in Saint Petersburg, an event which did really take place, is transformed into a story about a centenarian who wanders around the capital looking for her great-grandchildren and dies in their house during dinner. What appears to be the closest typological parallel to Dostoevsky's journalism is the style of 'Near-Eastern narration', e. g. the historical books of the Bible. *The Book of Judges* contains the same mixture of history and literature, direct speech of its protagonist and words already spoken by other figures of the Bible from the earlier episodes. Like a scribe of the past, Dostoevsky interacts with the world as if it was sacral. He is eager to trace glimpses of *higher* antitypes, *higher* plot, and even an intention of the *higher* Writer in mundane situations. The closeness to the Biblical 'prototype' shapes the uniqueness of Dostoevsky's articles among other 19<sup>th</sup> century journalistic writings. It brings some polyphony into the texts, so that the articles are not so much a direct speech of Dostoevsky as 'crossroads' created by the writer and mingling different persons, their voices and their outlooks on the world.

**Key words:** Dostoevsky; journalism; *A Writer's Diary*; Bible; history; narrative.